

Руслан

СЕМЯШКИН

г. Симферополь

«Видеть то, что другие не замечают...»

На фоне всех тех жутких внешних и внутренних катаклизмов и откровенно абсурдных явлений, постоянно сопровождающих жизнь человечества в XXI столетии, а также каждодневных проблем, преследующих обычных людей, и, бесспорно, судьбоносного сражения за право нашей огромной страны, великой и миролюбивой России носить свое прекрасное и достойное имя, исповедовать мировоззренческие идеи, основанные на традициях, вере, культуре, исторических путях-перепутьях, гордиться Иванами да Марьями, их непорочными судьбами и преданностью родной земле, как-то по-особому, глубинно, созерцательно воспринимается творчество этого, к сожалению, подзабытого писателя-реалиста, классика советской литературы, как оказалось, обладавшего уникальным даром взглянуть за горизонт.

И ведь не просто так заглядывал Анатолий Иванов вдаль будущих десятилетий, являясь художником, писавшим о современности и недалеком прошлом. Нет, совсем не просто и уж тем более не случайно. Слишком много мерзостей старого, отжившего вроде бы мира, разлагавших, лишавших рассудка, сковывавших развитие и стремление к

созидательной человеческой жизни он повидал и описал в своих эпических произведениях. Но не менее знал он и о современных ему ненавистниках Советской власти, грезивших о другой, основанной на иных, нежели в социалистическом государстве, ценностях. Вот только ценности эти пресловутые, либеральные, прикрываемые якобы подлинной демократией, оказались антиценностями, а если точнее, так и вовсе пагубными инструментами, использовавшимися для разрушения огромной державы, которую уважали во всем мире и которая могла дать отпор любому противнику, и прежде всего тому заокеанскому, ставшему после жутчайшего предательства могильщиков нашей страны настоящим гегемоном. Да и целясь в СССР, все эти некогда прикормленные Советской властью деятели, что сегодня очевидно каждому здравомыслящему гражданину, по сути прицеливались в Россию.

Произведения Иванова, написанные с середины 50-х и вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия, и в особенности его романы «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», вчитываясь в них сегодня, чрезвычайно созвучны нашему вре-

мени и той проблематике, которая в нем присутствует. А ведь в те годы, когда Анатолий Степанович их создавал, высказывались сомнения, а стоило ли ему сосредотачивать свое писательское внимание на отрицательных явлениях советской действительности? Прав ли он был тогда, когда заострял в своих творениях взгляд, допустим, на частнособственнических началах, накрепко засевших во многих на первый взгляд обычных советских людях? Не сгустил ли писатель краски, показывая жестокость, подлость, приспособленчество? Не увлекся ли он в представлении этих сопоставлений с миром большинства советских граждан, живших честно, самоотверженно, отдавая все свои силы делу социалистического, почитай государственного строительства?

Нет, не увлекся, да и красок, как оказалось, не сгустил. Потому и понятны его образы, особенно выпукло выписанные им в «Вечном зове», всем тем, кто искренне болеет за сегодняшнюю Россию, отдавая себе отчет в том, что капиталистический строй, хотя бы и с сильной государственной властью, не может быть справедливым для всех сограждан, живущих в стране. И никогда такие современные Константины Жуковы и Серафимы Клычковы или братья Меньшиковы не будут близки простым Марьям Вороновым и Захарам Большаковым, повстречавшимся нам в романе «Тени исчезают в полдень». Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ну что, скажите, общего у сегодняшнего олигарха, крупного собственника или главы банка и простого сельского труженика, врача, учителя, рабочего завода? Разве можно говорить о каком-то единстве взглядов и интересов хозяина какой-нибудь частной бизнес-структуры с многомиллионными доходами и, к примеру, его наемным работником, получающим 30 – 40 тысяч рублей в месяц? Думается, ответ очевиден.

Вот тут-то и начинаешь проводить параллели со многими отрицательными персонажами Иванова, жившими в совершенно иных общественно-политических условиях, но грезившими о том же. О капитале, о собственности, о власти над простыми людьми, о возможности задарма использовать их труд. И неужто не прав был писатель, когда начал высвечивать эту тему уже в первом своем романе «Повитель», увидевшем свет более 65 лет тому назад? Только вот в то время такие, с позволения сказать, частнособственнические «рецидивы» воспринимались как отжившие анахронизмы, а сейчас о частной собственности, то бишь успешности, влиятельности, грезят многие россияне, желающие жить богато и красиво, но за счет труда других, как им кажется, менее успешных и грамотных сограждан, не умею-

щих себя реализовать в условиях капиталистической, рыночной действительности.

Как выясняется, все те, кто вынашивал планы по развалу великой державы, Ивановым были нарисованы не просто правдиво, а и как-то предельно убедительно. При сем писатель подчеркивал, что рано, ой как рано говорить о том, что внутренних, скрытых врагов нет. Но и пасовать перед ними, говорил Анатолий Степанович, также было никак нельзя. Посему и вкладывает он в уста председателя колхоза «Рассвет» Захара Большакова из романа «Тени исчезают в полдень» такие слова: «– Я так мир понимаю. <...> Мироедов мы придали намертво. А те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха, от тесноты да собственной обиды. А может, кто и по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок. Все ждет – не наступит ли его время, все надеется...»

Эти слова Большаков, как четко указывает в романе прозаик, произносит в начале июня 1960 года. А выходит то, что и тогда эти «сверчки, исходившие гнилым скрипом», продолжали жить, злорадствовать, по возможности вредить и ждать. Не дождавшись и уйдя в мир иной, они передали «эстафету» детям и внукам, которые смогли упиться поражением России до беспамятства, расправив свои некогда прижатые крылья.

Беда же вся в том, что и эти поколения «ждунов», всяких Жуковых – Морозовых второй половины прошлого столетия, оказались не бездетны. Посему и видим мы сегодня новых отщепенцев, готовых торговать интересами страны, живущих в очередном ожидании. Увы, но «ждунов», по всей видимости, меньше не становится.

Вопросы эти, навеянные погружением в сущностное, мировоззренческое понимание естества современного российского общества, разумеется, напрямую с творчеством писателя не связаны. Но неужели мы, читая русскую или советскую классику, не сопоставляем ее с нынешними реалиями? Разве, читая и перечитывая «Тихий Дон», «Поднятую целину» М. Шолохова или «Русский лес» Л. Леонова, мы воспринимаем все прочитанное в этих великих произведениях буквально, без осмысленного сравнения минувшей эпохи с днем сегодняшним и с теми его проблемами, которые касаются нас лично?

Ответ, думается, однозначен и оспаривать его нет никакого смысла. Как несомненно и то, что Иванов, как, может быть, никто из других его современников, требует своего нового, вдумчивого

прочтения. Ведь те проблемы вечного противостояния добра и зла, а также стремления к единению с родной землей, ее корнями, историей, культурой, традициями никуда из нынешней жизни не делись. Скорее наоборот, они обострились и получили какие-то пока не совсем еще ясные очертания и формы.

Нет, наверное, среди тех, кто считает себя настоящим, а не прописным патриотом России, человека, кого не волновала бы сегодня судьба нашей страны, вынужденной сражаться с объединенным Западом, и не где-нибудь, а на исконно русских землях, некогда переданных Украине, братской, как казалось и думалось тогда, когда принимались соответствующие решения, и на протяжении десятилетий, когда созданная благодаря большевикам Советская Украина была второй по значимости советской республикой. Цветущей, прекрасной, экономически и культурно развитой... Мне же в связи с этим вспоминаются строки писателя из его бессмертного, хочется верить, романа «Вечный зов».

Так вот, есть в этом романе-эпопее один чрезвычайно значительный, показательный, берущий за живое эпизод, заключающийся в диалоге между Панкратом Назаровым и Поликарпом Кружилиным:

«— Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.

— На Киев, — коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.

— Да-а... Никогда я не был в этом Киеве, — заговорил почему-то Назаров. — Вот по истории учат детишек — в Киеве Русь начиналась, а?

— Да... там, — сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.

— Так, может, немцы и вдолбили себе — там начиналась, там и кончится? Потому так и лезут в какой раз на этот город?

Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила. И он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:

— Может быть...

— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров. — И тут у нас Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении. Во всех республиках в смысле, да?

— В этом смысле — да.

— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки и ручейки вливаются. Потому она и не мелеет. И в тебе она, и во мне — Русь. В укра-

инцах, татарах, во всех... разве же все это может кончиться?..»

Это же как надо было любить большую, неоглядную обычным взглядом Россию, Советскую Россию, Советский Союз, чтобы вложить в уста этих самых положительных, давно полюбившихся читателю, глубинных, исконно русских героев, олицетворявших Русь и ее духовное величие, такие проникновенные слова? Не знаю, но перечитывая страницы произведений Иванова, меня не покидает чувство огромной, несказанной любви, питавшее сердце и разум писателя. Потому и хочется их перечитывать, что в них великая, трагичная и оптимистичная, жизнеутверждающая правда о жизни России на протяжении семи десятилетий, судьбоносных, горестных и радостных, созидательных, устремленных ввысь и, вне всякого сомнения, оставивших неизгладимый след в истории Отечества.

Да, в Иванове жила Русь. Она была в его самой распространенной русской фамилии. В его простом, но красивом, добром русском имени. В его русских корнях. В его алтайской Шемонаихе, ставшей административной единицей Восточно-Казахстанской области. В его мощной, основательной внешности сибиряка, с виду, может, и сурового, но с очень добрыми, немного грустными глазами. В его жизненном пути, интересном, непростом, содержательном, однако же и вполне естественном для того времени. В его пристрастии к слову, великому русскому слову, журналистике, писательству, редакторству, служению русской советской литературе, литературе подлинной, высоко нравственной, гуманистической, патриотичной, реалистичной, стремившейся возвысить человека-творца. В его верности коммунистическим идеалам, Советской власти, советскому образу жизни. В его скромности, презрении к чванству, высокомерию, самолюбованию и жажде властвовать над окружающими его людьми. В его русскости наконец, причем не показной, а искренней, шедшей из самых потаенных уголков его тонкой, восприимчивой души.

Русский по духу, Иванов, бесспорно, был советским писателем и гражданином. И произведения его тому ярчайшее подтверждение. Разве он в них не показал революционные события и то грандиозное преобразование всей жизни, которое пришло вместе с Октябрьской революцией? Или он не вывел на своих страницах примеры зарождения новых советских граждан, решительно отбрасывавших от себя груз прошлого? А как психологически тонко нарисует он представителей поколения, рожденного уже при Советской власти!

По сути, он будет писать и о тех, кто был его по

годам не намного уж и старше. Самыми же важными, колоритными персонажами этого поколения представляются Федор Морозов из романа «Тени исчезают в полдень» и Семен Савельев из эпопеи «Вечный зов». Думается, что на этих образах следует остановиться более подробно.

Показателен эпизод, в котором Устин Морозов, в годы Великой Отечественной войны ставший предателем, немецким старостой, убивает в Усть-Каменке своего сына, отважного красноармейского разведчика, всегда производил очень сильное впечатление. И дело тут, конечно, не в сентиментальной семейной драме. Сентиментальность как метод Ивановым в этой развязке вышедшего наружу противостояния между отцом-предателем, представлявшим старый, отживший, но продолжавший биться в конвульсиях мир, и сыном, с детских лет впитавшим преданность Советской власти, в расчет практически не брался.

Федор Морозов с детства рос непокорным отцу. И не потому, что был сложным, неуживчивым ребенком. Наоборот, был он обычным деревенским, работающим мальчишкой, но почувствовавшим ложь, жившую в его семье. Каким-то особым чутьем он догадывался, что на людях отец с матерью одни, а дома совсем другие. Да и покоряться отцу, его непонятным требованиям он, стремившийся к знаниям, к свету, к обществу, не хотел. Так и вырос, заметно отличаясь от родителей и став по-настоящему советским, верящим в свою страну и народ человеком.

Встреча его с отцом-предателем на войне произойдет для него неожиданно. Сраженный пулей, он будет найден отцом, переодет, так как Устин, что называется, заметал следы, выхожен. После же того как он услышит страшные для него слова о том, что отец служит немцам старостой, он попытается его задушить.

Перечитывая эту главу, не перестаешь удивляться мастерству Иванова. Как же точно он подберет каждое слово, чтобы показать весь чудовищный накал этого психологического поединка, из которого Федор, несмотря на то что лишается жизни от руки негодяя-отца, выходит победителем.

Приведу в этой связи заключительную часть данной главы, в которой слабый, не восстановившийся после тяжелого ранения Федор смело и бескомпромиссно бросает отцу свое, почитай народное обвинение:

«— Теперь, дорогой мой отец, послушай, что я скажу. Ты уж погоди, пожалуйста, стрелять. Я буду говорить не шибко длинно, зато понятно. Прямо по пунктам.

— Валяй... Хотя по параграфам.

— Первое. Да, я не немало, господин Фомичев, измолотил в боях вашего брата.

При этих словах Устин нервно дернул головой.

— Именно — вашего брата, — повторил Федор. — Зверюга я или нет в твоём понятии, это меня мало беспокоит. Дрался я за свое — я за Зеленый Дол наш дрался и убивал, за нашу Светлиху, за Марьин утес, за Озерки, за Москву, за всю страну, за весь народ. А ты за что? За что, я спрашиваю?

— И я за свое.

— Да что у гниды своего-то?! — удивленно воскликнул Федор. — И кто ты такой? Объяснил бы, в конце концов. <...>

— Слушай, раз хочешь. Все равно теперь. Я вовсе не Устин Морозов. Фамилия моя Жуков. Константин Андреевич Жуков. На Волге крестьянствовали мы, большую хлебную торговлю вели.

Все это было так неожиданно для Федора, что он оцепенел.

— Вот так, — добавил Устин. — Вот какая в тебе, подлеце, кровь течет.

Наконец Федор заговорил:

— Жуков, значит? Ну так вот... господин Жуков. Теперь и совсем ясно. Вот и спросить бы весь народ, спросить всю страну: кто из нас зверюга? Оба мы убивали, оба, как ты выражаешься, «души губили». Вот и пусть люди сказали бы, кто из нас душегуб и зверюга. Ну-ка, соглашайся...

Устин процедил зловеще сквозь зубы:

— Еще смеешься ты... выродок!

— Теперь второе, — продолжал Федор, не обращая внимания на слова Устина. — Не дожدهшься, сволочь, чтоб сила наша ослабела! Ты правильное слово нашел — захлестывает наша волна вашу, поганую и мутную. Слышишь, господин Фомичев, как захлестывает?! <...> Слушай, господин Морозов! Слушай, господин Жуков! Лучше слушай!! <...>

— И, наконец, третье, последнее, — чуть потише сказал Федор. — Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут. <...> И что был такой немецкий староста в Усть-Каменке — Сидор Фомичев, он же кулак Жуков, он же зеленодольский колхозник Устин Морозов... И не помогут тебе никакие самые надежные документы, с самыми что ни на есть настоящими печатями, хотя бы ты заплатил за них втрое, в десять раз больше той цены, по которой тут живые боги продаются...

— Откуда им, людям-то, обо всем узнать? — с улыбкой спросил вдруг Устин. — Ты, что ли, расскажешь?

— Не-ет, я молчать буду, — облил Федор отца с ног

до головы, как кипятком, насмешкой. – Видишь, я умоляю тебя, на колени становлюсь: язык проглотчу, только пощади, не убивай...

– Что же, ничего не скажу, смелый... – Устин еще более сузил веки.

– Лизать вонючие немецкие лапы не приучен, верно.

– Я русский все-таки.

– Ты-то?!

И в этом коротком возгласе Федора было столько презрения и ненависти, что узкие, как щелочки, глаза Устина захлопнулись совсем. И, не раскрывая их, он вдруг ткнул большим, тяжелым кулаком в голову сына. Удар был вроде не- сильный. Но Федор, даже не вскрикнув, свалился мешком с кровати.

Устин рывком выдернул из кармана пистолет. Выстрелил раз, другой, третий...

Потом открыл глаза, тупо глядел, как растут, расплываются темные пятна на груди сына, как набухает кровью повязка на его голове».

Всего лишь коротким возгласом удивления и недоумения на слова Устина о том, что он, дескать, «русский все-таки», Федор психологически добивает этого морального урода, приходившегося ему отцом. Воспаленное сознание освидетельствованного Морозова не выдерживает... Но ведь и тут Иванов выступал со свойственным его письму холодно-рассудочным заключением: не имели морального права, говорил нам тогда еще достаточно молодой писатель-коммунист, эти приспособленцы и предатели своего народа называть себя русскими. Какие же вы русские, если пошли в услужение к врагу, пришедшему поработить родную землю? За какую такую «правду» служили вот такие душегубы Морозовы, Фомичевы, Жуковы и другие отщепенцы гитлеровцам? За возможность во время народного повсеместного горя сытно жрать и за призрачную иллюзию, что немцы вернут им их богатства?!

Нет, – у предательства, притом не отдельного человека, а целых Родины и народа, как гнусного, омерзительного антисоциального явления, был неколебимо убежден Иванов, не может быть никакого оправдания и вердикт в таких случаях должен быть самым суровым. Тему же эту писатель в дальнейшем подробнейшим образом разберет и в своей эпопее «Вечный зов», и кульминацией к ней, наверное, станет эпизод возвращения во второй половине 50-х годов в родное село Максима Назарова, отсидевшего за то, что в немецком концлагере он пошел на сотрудничество с нацистами.

Войдя тогда в дом, он скажет своему старому

отцу – Панкрату Назарову, тянувшему колхоз долгие годы и вытянувшему его в самое суровое время войны:

«– Ну что ж, отец, – вздохнул он. – А я вот не смог вынести, отец... В аду, наверное, легче. За то отсидел, тюрьмой искупил. По амнистии вышел вот. Ну, как вы тут? Мать где?

– На том свете, сынок, всегда, видно, легче, чем на земле. Туда она и перебралась. Узнала об тебе и, как свечка, стояла. Который год как... А я вот тебя дождался. <...>

– Отец! Неужели... не будет мне прощения?

– А это надо у людей спросить, как они. – И Назаров кивнул за окно. – Ступай и спроси. Простите ли, мол, что над людьми я изгалялся, что в свои стрелял?

Пятеро суток Максим Назаров выйти на улицу не решался, жили они молчком. <...> На шестые сутки Максим не выдержал, вышел на улицу, спросил у какой-то женщины, где находится контора, зашагал к ней.

Встречные люди, которых он не узнавал, останавливались и долго провожали его взглядом, – и взрослые останавливались, и дети. Смотрели на него из-за плетней и огородов, припадали к окнам, выбегали из домов. Все, оказывается, знали, что он вернулся, весть, что он идет по улице, мгновенно разнеслась по Михайловке. И вот глядели на него кто как – удивленно, изумленно, брезгливо, а некоторые, больше старухи, и с жалостью. Но эти жалостливые взгляды почему-то обижали его сильнее всего».

Народ в большинстве своем Максима не простил. Далее же писатель рисует горькую картину того, к чему приводят малодушие, трусость, не- померная жалость к самому себе, словившие этого человека и нацелившие его к предательству, за которое он, как ему казалось, уже понес справедливое наказание.

«Отец был дома. Как и шесть дней назад, он сидел на низенькой кровати, смотрел перед собой пустым взглядом, за его спиной висело охотничье ружье.

– Поговорил... с председателем, – усмехнулся Максим. – Что и делать, не знаю. Уезжай ты, говорит.

– Не-ет, нельзя, – вымолвил вдруг Назаров. – Куда уедешь?..

– Верно, некуда, – тоскливо сказал Максим. <...>

– Я знаю, это ружье... для меня висит!

– Для тебя, – спокойно подтвердил Панкрат. – Я давно для тебя его повесил, как все узнал. Заряд хороший заложил.

– Я все это понял... Чутьем.

– А какое тут чутье надобно? – усмехнулся Панкрат.

– Но я... н-не могу! – Голос Максима рвался, пот еще обильнее покатился по грязным щекам. – Н-не могу...

– Щ-щенок! – вскричал теперь Панкрат, быстро поднялся, сорвал со стенки ружье. – Щенок ты... вонючий!

– Отец! Оте-ец! – Загораживаясь от него рукой, Максим попятился к дверям. Панкрат Назаров, держа ружье вниз прикладом, опираясь на него, как на костыль, наступал на сына. – Отец! Не могу... Я лучше уйду! С концом, бесследно...

– Бесследно... И уйдешь! Уйде-ешь! Марш в сенник! Поганить дом не хочу! В нем прожили с матерью. Тут обмывали ее... Куда-а пятишься? Там сенник, забыл?

Он загнал его в сенник, и там, в темноте, Максим упал на землю, обхватил ноги отца, завыл уже действительно как щенок.

– Прости! Хотя ты прости... Я сын твой, сын...

– Вста-ань, ты...

Максим, повизгивая, поднялся, мокрый и горячий. Не было еще и полуночи, глаза его в лунном свете, лившемся в открытую дверь, блестели жалко и просяще.

– Бери ружье! – безжалостно проговорил Панкрат Назаров. – Дуло в рот. Пальцем ноги спуск на-шаришь... Скинь сапог!

Максим, как в комнате, начал пятиться, пока не уперся спиной в дощатую стенку. И там, хотя лунный свет не доставал до него, глаза его так же блестели.

– Ну?!

– Этот возглас отца будто подкосил его, он упал, начал извиваться в пустом сеннике, со стоном выкрикивая все то же:

– Не могу, не могу, не могу-у...

Но постепенно он затих. Панкрат ждал этого терпеливо и, когда сын умолк, подошел к нему, положил под руку ему ружье, сказал негромко и ровно:

– Давай... Или себя, или меня. Дверь открытая, сынок, а обоим вместе нам отсюда не выйти. А я вот сяду тут и подожду. Тяжко мне на ногах-то стоять...

...Выстрел прогремел только на рассвете».

Суровая и непреклонная правда жизни. Или, может, Иванов все же сгустил краски? Ну зачем, спрашивается, старый Панкрат Назаров, сам еле живой, отправляет в могилу своего сына? Ведь это, скажут говорливые либералы, бесчеловечно, антигуманно... Нет, говорил читателям, а затем и зрителям писатель и сценарист. Ничто на земле не должно оставаться безнаказанным. И проявление

жалости порою чревато новыми преступлениями. Хотя безвольный Максим Назаров их бы, может, уже и не совершал, но извечный пахарь, хлебороб, труженик Панкрат Назаров, живший с родной землей одной неразрывной жизнью, не раз слышавший ее вечный зов, простить сына не смог, потому-то от имени земли-кормилицы, ее народа и принуждает он его ответить за свои преступления. По-людски ли это? Да, по-людски! Потому как жить на земле следует честно, по совести, а не с грузом былых преступных деяний, кровью не смытых... Увы, это только наша родная Советская власть была необычайно гуманной и многих простила, как позже стало понятно, чрезмерно часто и тех, вроде всяких оуновцев, бандеровцев и другого отребья, кого прощать было никак нельзя.

Почему же кто-то, совершенно сознательно, без всякого принуждения и уговоров готов был идти на осознанные жертвы, как Семен Савельев, «русский Савелий», а кто-то, вроде его отца Федора, пошел в услужение к немцам? Вопрос сей не нов. Над ним изрядно размышляли и ранее. Неопровержимо здесь лишь одно, и Иванов, думается, об этом всей своей эпопеей сказал убедительно и прямолинейно, хотя где-то и между строк.

Великая Октябрьская революция сформировала нового советского человека, который и пошел защищать свое государство. И защищал, как совсем молодой Семен Савельев, как такой же молодой Василий Кружилин, отчаянно, смело, не жалея ни сил, ни собственной жизни. Пошел защищать Советскую родину и Иван Савельев, родной дядька Семена, человек, в жизни многое повидавший, отбывший срок по надуманному, родным братом Федором сфабрикованному делу, бывший когда-то в молодые годы в банде Кафтанова, но не сознательно, а потому, что тот обещал выдать за него дочь Анну, которую он любил. Пошел вроде как на войну и Федор, тоже вполне себе советский человек, передовик производства, бывший в Гражданскую войну партизаном... пошел и стал немецким полицаем, потому, оказывается, что долгие годы Советскую власть он скрытно не любил и жалел о старых временах.

У каждого из вышеназванных героев романа-эпопеи «Вечный зов» была своя судьба, имелся, само собой, и свой внутренний стержень. Каким он был, нам известно. Анатолий Степанович красок для представления своих героев не пожалел. Хотя дело, конечно, не в красочности, многоцветности и яркости повествования, а в том, что через эти образы он показывал и тот социальный разлом, который произошел в обществе в 1917 году, но и то социальное единство, пришедшее ему на смену.

Анатолий Иванов, вне всякого сомнения, принадлежал к числу наиболее жестких, предельно правдивых советских прозаиков, ставивших перед собой непростую задачу по отображению самых сложных жизненных перипетий и явлений, показ которых был, по его мнению, необходим и важен для советского общества второй половины двадцатого столетия, жившего в общем спокойной, вполне размеренной жизнью, становившейся с каждым годом все более разительно отличной от того довоенного, военного и послевоенного, вплоть до начала шестидесятых годов, времени, описанию которого писатель и посвятил свои произведения.

Роман-эпопея «Вечный зов» буквально изобилует сюжетными линиями и героями, имеющими принципиальное значение, тем более если смотреть на них через призму дня сегодняшнего. И какую из этих линий ни возьми, каждая по-своему интересна и примечательна. Однако присутствует в этом широчайшем художественном полотне, пожалуй, и самая главная сцена, нередко вспоминаемая многими патриотично настроенными публицистами, общественными деятелями, политиками, короче говоря, всеми теми, кто приучен и привык называть вещи своими именами.

Речь идет о диалоге, состоявшемся между самой зловещей фигурой в романе, бывшим следователем царской охраны, а в годы Великой Отечественной войны офицером абвера Арнольдом Лахновским и бывшим его агентом, карьеристом и приспособленцем Петром Полиповым, служившим тогда в армейской газете.

Оставим за скобками подробности самой той встречи, ставшей для трусливого Полипова большой и крайне неприятной неожиданностью. Они для нас имеют второстепенное значение. Важен тут, конечно, сам разговор и поведение этих двух отрицательных героев, наглядно демонстрировавшее их полную противоположность в характерах и схожесть в способности быстро мимикрировать и приспособливаться к любым, даже самым нестандартным ситуациям.

Лахновский встречает Полипова и практически с порога выдает ему все те бредовые, страшные в своей основе мысли, которые, как скажет мимоходом автор, жили в его голове достаточно давно: «– Ну что же... Не удалось нам выиграть в этом веке, выиграем в следующем. Победа, говорит ваш Сталин, будет за нами. За Россией то есть. Это верно, нынче – за Россией. Но окончательная победа останется за противоположным ей миром. То есть за нами. <...>

– Не ошибаетесь? – вырвалось у Полипова невольно, даже протестуя.

– Нет! – повысил голос Лахновский. – Вы что же, думаете, Англия и Америка всегда будут с Россией? Нельзя примирить огонь и воду.

– Но идеи Ленина, коммунизма – они... <...>

– Они... эти идеи... – Полипов был не рад, что начал говорить об этом. <...>

– Непобедимы?! – вскричал, как пролаял, Лахновский. – Это ты хотел сказать? Об этом все время кричит вся ваша печать. Непобедимы, потому что верны, мол...

– Я хотел сказать, – перебил его Полипов, – они, эти идеи, все же... привлекательны. Так сказать, для масс. <...>

– Слушай меня, Петр Петрович, внимательно. Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи, всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей как единственно правильные, а потом стареют и умирают. Ничего вечного нету. И законов никаких вечных у людей нет, кроме одного – жить да жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. Вот и все. А чтоб добиться этого... ради этого люди сочиняют всякие там идеи, приспособливают их, чтоб этой цели достичь, одурачивают ими эти самые массы – глупую и жадную толпу двуногих зверей. А, не так?»

Лахновский не был бы самим собой, если не показал бы Полипову истинную природу приспособленчества: «– Молчишь? Там, у своих, где-нибудь на собрании, ты бы сильно заколотился против таких слов. А здесь – что тебе сказать? <...> Не одолей нас эта озверелая толпа тогда, ты бы сейчас совсем другие идеи проповедовал. Царю бы здраву до хрипа кричал. Потому что это давало бы тебе жирный кусок. Но эта толпа сделала то, что они называют революцией... Несмотря на наши с тобой усилия, все пошло прахом. За эти усилия и меня, и тебя могли запросто раздавить... как колесо муравья давит. Но мы увернулись. Ты и я. Но я продолжал, я продолжал всеми возможными способами бороться. Потому и здесь, с немцами, оказался. А ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в бога? А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь! Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой... и, насколько можно, самый жирный кусок. А, не так?»

Лахновский предвидит поражение Гитлера, несомненно для него и будущая ожесточенная борьба. Но кого с кем? Ради чего? Недаром Полипов так прямо у него и спрашивает: «– А кто это – мы?»

Ответ старого, закоренелого цепного пса само-

державия, не случайно ставшего германским агентом, Полипова просто ошеломляет: «— Мы? Кто мы? <...>Мы — это мы. Вы называете нас до сих пор троцкистами. <...>Троцкого нет... Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза, например, не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители...»

Ну а далее Лахновский еще более подробно говорит о том, как им удавалось вносить разброд в руководящую партийную среду, являвшуюся стеновым хребтом всего молодого Советского государства: «— Я много думал над будущим, Петр Петрович, — неожиданно усмехнулся Лахновский мягко и как-то мирно, добродушно. — Конечно, теперешнее поколение, впитавшее в себя весь фанатизм так называемого марксизма-ленинизма, нам не сломить. Пробовали — не получилось. Да, пробовали — не получилось, — еще раз повторил он раздумчиво. И, в который раз оглядывая Полипова с головы до ног, скривил губы. — Немало, немало до войны было в России, во всем Советском государстве слишком уж ретивых революционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты... На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно, но такие сверженные революционеры и лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, ополчать ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких... и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации... а иногда и гибели наиболее ярких коммунистов... Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах и лагерях. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали...»

Реально оценивая возможности своих хозяев, Лахновский, тем не менее убежденный в неизбежности будущего реванша, так же уверенно продолжает: «— Я ж тебе и объясняю... В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. <...>Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал... Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, ополчать и уничтожать главные основы нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем раз-

лагать, развращать, растлевать ее! <...> Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! <...> Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! <...>

— Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и помощников в самой России! — срываясь, выкрикнул Лахновский. <...> — И даже не то слово — найдем... Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом... со всех сторон — снаружи и изнутри — мы и приступим к разложению... сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедем этот монолит, продырявим его. Молчи! — взревел Лахновский, услышав не голос, а скрип стула под Полиповым. — И слушай! Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива, как учил, как это умел делать Троцкий. Льва Толстого он, например, задолго до революции называл в своих статьях замшелой каменной глыбой. Знаешь?

— Не читал... Да мне это и безразлично.

— Вот-вот! — оживился еще больше Лахновский. — И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, оупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется! <...>

— Вот так, уважаемый, — произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. — Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания... Конечно, для этого придется много поработать. Из литературы и искус-

ства мы, например, постепенно вытравим ее социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыпем их наградами, они будут купаться в деньгах. Вот за такими – кто из зависти, кто по необходимости заработать кусок хлеба – потянутся и остальные... В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взыточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть других народов к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже отчетливо понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества... Вот так мы это и сделаем, любезный... Вот так. <...>

– Планы ваши, конечно... решительные. Только никогда вам их не осуществить, – мотнул головой Полипов. <...>

– Тебе этого не понять. Не понять... Да бог с тобой. Не всем дано. <...>

– Живи как можно дольше, Петр Петрович, – усмехнулся Лахновский. – А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас...»

Намерения злобствующего фанатика Лахновского, в осуществлении которых он не сомневался и в основе коих лежали самые существенные и ключевые направления злополучного плана Даллеса, к великому сожалению, в нашей стране были реализованы, причем значительно раньше того времени, о котором говорил вымышленный писателем Лахновский, ставший, очевидно, образом собирательным.

Во второй половине семидесятых годов прошлого века к предостережениям писателя-патриота и подлинного государственника прислушались, чего греха таить, немногие. Слишком уж далекими казались тогда большинству советских граждан события времен Великой Отечественной войны, а такие, как Лахновский, воспринимались скорее ярко отрицательными, но колоритными персонажами, над типажом и словами которых можно было порассуждать. Да и то, как правило, отвлеченно. Чего, мол, заикливаться на старом и отжившем свое. Общество у нас, как в те годы официально считалось, монолитное, единое, сплоченное и направляемое партией в нужном направлении, следовательно, таких, как Лахновские и иже с ними, в нем нет и быть не может. Не может по определению. Посему и выводов каких-либо серьезных, далеко идущих, из литературного сюжета, пускай и получившего народную известность, делать не требуется. Все сказанное этим героем Советского государства напрямую не касается, а то, что в мире продолжается противостояние сил добра и зла, так это истина общеизвестная, сомнению не поддающаяся. То есть на сем обсуждение этой сцены можно и завершить... что, в конечном итоге, как известно, и произошло на беду великой стране и ее многострадальному народу.

Такое несколько утрированное рассуждение мною озвучивается не случайно. И прежде всего потому, что давно пора вновь прислушаться к Иванову, перечитав лучшие его произведения, сопоставив все в них описываемое с современностью, с ее каждодневными проблемами и глобальными вызовами. В первую же очередь к творчеству писателя следует обратиться людям молодым, тем, кто только начинает сегодня свой жизненный путь, путь явно извилистый, непростой, требующий собранности, физических и духовных сил, а также неизменной веры, веры в Россию и ее новое преобразование, за которое, откровенно говоря, стоило бы и побороться.

Каждый раз, беря в руки творения Иванова, ловлю себя на мысли о том, что их жизненность и обаятельная сила воздействия с годами нисколько не ослабевают. Скорее наоборот. Да и действуют они в результате все так же эмоционально сильно и безотказно. Чем и привлекают, призывая вновь соприкоснуться с судьбами хорошо знакомых героев, о которых, кажется, знаешь все.

Знаешь... и тем не менее каждый раз открываешь что-то новое. Казалось бы, ну что можно нового почерпнуть из жизненных историй братьев Савельевых и Поликарпа Кружилина из «Вечного зова»? Наверное, ничего. Ан нет. Что-нибудь

да находится. И находится, конечно, не в самих сюжетах, а в их осмыслении с позиций дня нынешнего, вынуждающего нас на многие вещи смотреть беспристрастно, глубоко, с определенным прицелом.

Многогранное творчество Анатолия Иванова ранее справедливо сравнивали со «свирепым реализмом» Михаила Шолохова, приводя в примеры чисто внешние совпадения. Однако, объективности ради, художниками они все-таки были разными. У Шолохова его великая эпопея «Тихий Дон» начиналась с подробного повествования об укладе казачьей жизни. И ломка этого уклада вызвала глубокий раскол, проходивший через многие семьи, поднимавшие брата на брата. Шолохов в констатации истории казачества предельно, даже чрезмерно последователен, историчен, посему события в «Тихом Доне» порою можно воспринимать как хронику, как документальное повествование, написанное, бесспорно, выдающимся художником. Для Иванова же история выступала лишь фоном, на котором и кипели человеческие страсти, завязывались конфликты и интриги, сложные, разветвленные, требовавшие большого мастерства в их глубинном, с философским подтекстом описании.

Однако сам Анатолий Степанович к своему творчеству относился скромно, в меру требовательно, без претензий на зачисление в живые классики.

Писательский взор Анатолия Иванова, писателя-почвенника, публициста, государственника, Героя Социалистического Труда, лауреата Госу-

дарственных премий СССР и РСФСР имени М.Горького, премии Ленинского комсомола и Международной премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства, большого подвижника и радателя земли русской, общественного деятеля, бессменного редактора «Молодой гвардии» на протяжении более двух десятков лет, художника самобытного, во многом жесткого, неподатливого, последовательного, не жалевшего черной краски для описания разноликого зла, – был четким, всепроникающим и способным подмечать как самое существенное, так и то, что казалось малозначительным и неважным. Но, к счастью, для Анатолия Степановича в жизни важным было практически все, посему и прошел он свой земной путь достойно, с высоко поднятой головой и открытым забралом, как и подобало настоящему русскому советскому гражданину, патриоту, воину и писателю... Внеземной же путь выдающегося писателя России и его потрясающих произведений продолжается. Так тому и быть!

□

Руслан Владимирович СЕМЯШКИН

родился в 1983 году в г. Симферополе.

Окончил Таврический университет им. В.И. Вернадского

по специальности «история»,

Одесский институт государственного управления.

С 2006 года и по настоящее время работает в Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Черноморнефтегаз».

Печатался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни»,

«Простор», «Литературный Азербайджан»,

«Литературная Армения», «Литературный Кыргызстан»,

«Памир», «Политическое просвещение», «Известия СКП-КПСС»,

в газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная газета»,

«Литературная Россия», «День литературы», «Красная звезда»,

«Тюменская правда», «Крымские известия», «Крымская правда» и др.

Лауреат премии «Слово к народу» газеты «Советская Россия».

Живет в г. Симферополе.

В журнале «Север» публикуется впервые.

